И всегда — человеком…

Виктор Платонович Некрасов

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания.

- Виктор НЕКРАСОВ
  - ○

Виктор НЕКРАСОВ
И ВСЕГДА — ЧЕЛОВЕКОМ…

Воспоминания о А. Т. Твардовском

В декабре 1971 года не стало Александра Трифоновича Твардовского. Вскоре после смерти друга Виктор Платонович Некрасов написал о нем воспоминания. Они были приняты к печати, но затем исключены (в 1973 году) из мартовской книжки ленинградского журнала.

Наборный экземпляр рукописи В. Некрасова «И всегда — человеком (Воспоминания о А. Т. Твардовском)» стал достоянием фондов Ленинградского государственного архива литературы и искусства (ныне ЦГАЛИ Ленинграда).

В одной из стандартных архивных папок рукопись встретилась мне и теперь становится общим достоянием, как и положено быть.

Светлана АНТОНОВА

Трудно писать о человеке, с которым так недавно расстался, которого любил, знал больше двух десятков лет, с которым даже дружил, хотя дружба с ним была далеко не легка.

Да, Твардовский не относился к людям, с которыми легко и просто. И хотя, очевидно, с такими людьми общаться всегда приятнее, сама необходимость этого общения не всегда обязательна. С Твардовским же общение, в каком бы настроении он ни был, — а бывал он в разных, — всегда было интересным. Нет, тут надо какое-то другое слово, быть может, «значительным» — не подберу сейчас; но так или иначе это всегда было общение с человеком умным, на редкость неодносложным, очень ранимым и всегда неудовлетворенным, самим собой в том числе, хотя цену себе он знал. Он никогда не старался казаться умнее, чем он есть, но почему-то почти всегда чувствовалось его превосходство, даже когда в споре оказывалось, что прав именно ты, а не он.

Побежденным, как и большинство людей, признавать себя не любил, но если уж приходилось, то делал это всегда так по-рыцарски, с таким открытым забралом, что хотелось тут же

отдать ему свою шпагу. Да, в нем было рыцарство, в этом сыне смоленских лесов, светлоглазом, косая сажень в плечах, — умение отстаивать свою правоту, глядя прямо в глаза, не отрекаться от сказанного и не изменять в бою. Это навсегда привлекло меня к нему.

Мы познакомились с ним почти сразу после войны, в конце сорок пятого или начале сорок шестого года. Обоим было тогда лет по тридцать пять. Но он уже ходил в знаменитых писателях, «Теркина» все знали наизусть, а я пришел к нему в кирзовых сапогах, в гимнастерке с заплатанными локтями и робко сел на краешек стула в кабинете. Некоторое время он внимательно и доброжелательно меня разглядывал, а это всегда смущает, потом огорошил вопросом: «Это что же, вы безопасной бритвой так ловко пробриваете усы или опасной?» Я растерялся, но вынужден был признаться, что — да, безопасной. Он часто потом возвращался к этим злосчастным усам: «И вот так вот каждое утро, перед зеркалом, железной рукой? И вот здесь, посередке, тоже? Ну-ну, очень неплохо надо к себе относиться, чтоб этим заниматься». И пожимал плечами…

Вообще, Трифоныч не прочь был иной раз смутить человека каким-нибудь неожиданным суждением или вопросом. Но в тот раз не думаю, чтоб он хотел чем-нибудь задеть меня, — весь вечер он был удивительно внимателен и заботлив. Просто он очень не любил — и не всегда мог это скрыть — людей, слишком много уделяющих себе внимание. Какие-нибудь красные носки или излишне пестрый галстук могли сразу же его настроить против человека так же, как и ходкие жаргонные выражения: «Железно!» «Будь спок!», «Ваши координаты?», «Маяковка». Вообще пошлость в любых ее проявлениях, даже самых утонченных, — а это тоже встречается как высшая форма обынтеллигентившегося мещанства, — была ему противопоказана. Я видел, как на глазах терялся у него интерес к человеку, который мог при нем сказать: «Вы знаете, я часами могу стоять перед Мадонной Рафаэля» или что «Прекрасное остается прекрасным даже в руинах, — Парфенон, например…»

«Ты понимаешь, — оправдывался он потом, — мне с ним просто неинтересно. Мне не о чем с ним говорить. Ну, не о чем. И заметь, эти люди всегда стоят часами, не просто долго, а именно часами. От двух до шести, что ли? По часам смотрел?»

Я говорю сейчас обо всех этих мелочах, вернее, — якобы мелочах, не только потому, что из мелочей складывается целое, а потому, что сейчас, именно сейчас, через какие-нибудь два месяца после того, как я его хоронил, Твардовский близок и дорог мне именно этими его черточками, его взглядом, иногда суровым,

редакторским, а иногда таким добрым, даже детским, его улыбкой, замечанием, жестом, когда Он вдруг хватал тебя за локоть, переходя улицу, — он не любил потока автомобилей.

Он был очень разным. Меньше всего располагал он к себе за редакторским столом: сидя в кресле перед этим столом, я всегда чувствовал некий невидимый ров между нами, ров с поднятыми мостами. Но когда эти мосты, случалось, опускались, он весьма ловко, по-мальчишески, по ним пробегал, никогда не теряя при этом; правда, некоторой присущей ему сановности. Не думаю, чтоб сам он очень любил этот стол, но всю необходимость своего пребывания за ним осознавал. С юмором, хотя и не без горечи, часто говорил: «Увы, за рубежом меня куда меньше знают как поэта, чем как редактора некоего прогрессивного журнала».

К призванию своему относился весьма серьезно. Никогда об этом не говорил, но достаточно было на него посмотреть, когда он читал вслух свои стихи, чтобы сразу увидеть его неподдельную радость на верную реакцию его слушателей. А читать он любил. И умел. Читал очень просто, без поэтических излишеств, не теряя внутреннего ритма, но главное — умел доносить мысль, чем многие поэты, увы, пренебрегают, считая, что это убивает поэтичность. Еще больше, чем читать, он умел и любил петь. Призваться, я обычно побаиваюсь застольного пения — мне всегда кажется, что оно заменяет отсутствие темы для разговора, — но у Трифоныча оно ничего собой не заменяло, он просто любил песню. И знал их много — старых, русских, неведомых мне. Особенно хорошо получалось это у них с Казакевичем. У обоих были не очень сильные — да это и не нужно было! — чистые голоса и удивительно верный, тонкий слух. Как-то ночью, в гостинице, кажется, во Флоренции, они оба чуть не до рассвета пели какие-то ямщицкие песни, и только ранний утренний колокольный звон, донесшийся из открытого окна, заставил их умолкнуть. Звон был очень нерусский, католический, и вместе мелодии жить не могли. Они умолкли.

Любя, и не стесняясь этого, все русское, он любил и понимал все нерусское. Мне нравилось, как он ходил по картинным галереям в Италии. Не торопясь и, не пытаясь охватить все, он медленно ходил по залам, задерживался у той или иной картины, внимательно разглядывая ее и не боясь задать вопрос, обнаруживающий его некомпетентность. Именно с ним мы обнаружили в галерее Уффици неведомого нам до той поры художника Паоло Учелло, и оба пытались вникнуть в плоскостно-перспективную загадку этого художника. Твардовский никогда не писал об искусстве, считая себя, очевидно, недостаточно сведущим. Но если бы он писал, то, не сомневаюсь, лишен был бы

тех положенных шор приличия и условности, которые заставляют человека восторгаться тем, чем положено, и осуждать Осужденное. Возможно, он даже позволил бы себе сказать, что Рафаэль ему меньше нравится, чем Учелло, и даже объяснил бы, почему.

Он любил все красивое. И понимал в этом толк. Красивую песню, стихи, какой-нибудь северный лубяной туесок, красивых людей. И умных. У нас был общий с ним друг, критик, немолодой уже, широко образованный человек, со своими, правда, странностями, над которыми Трифовыч любил иногда подтрунивать. Но как-то, говоря именно о нем, он сказал: «Ты знаешь, почему я многое прощаю умным людям — кроме подлости, конечно, — это потому, что они многого не знают и никогда этого не скрывают. А дурак — ты заметил это? — всегда все знает. Всегда и все…»

Дураков он не любил, физически не переносил. И особенно за то, что всегда поучают. Это первый признак дураков. «Остерегайся советов, — говорил он, — Почти всегда дают их дураки, Они очень это любят. И людей, которые ссылаются на здравый смысл, тоже остерегайся. Знай — дураки. Это их главный довод. Ведь они самые положительные, самые серьезные люди в мире. Серьезнее всех, да-да! Запомни это на всю жизнь!»

Я никогда не назвал бы Твардовского ласковым. Многие слыхали от него суровые слова. Но это в глаза. За глаза же он умел так хорошо говорить о людях, как немногие. И радоваться чужому успеху тоже умел. Искренно, неподдельно. Появление талантливой рукописи выбивало его из колеи. Об одной из них, помню, он без умолку говорил целый день, увлеченно читал из нее отдельные места, сияя глазами. Такими рукописями он заболевал и отстаивал их потом во всех инстанциях с присущим только ему умением и упорством. Злые языки говорили, что он не любил поэтов, особенно молодых, не растил их, мол. Абсурд! Он просто не любил плохие стихи, ни молодые, ни старые. И прозу тоже. Он не любил посредственности и дороги ей не давал. К содержанию, к уровню редактируемого им журнала относился так же требовательно, как и к своим собственным стихам.

Многие считали, что Твардовский важен, что к нему трудно подступиться. Нет, важен он был только в ресторане. На официантов это действовало безотказно, что и требовалось. Тут был и взгляд, и походка; и неторопливое, обстоятельное чтение меню, и разящее наповал: «Быстрота обслуживания будет учтена особо». Да, тут он был важен. Но вряд ли можно назвать важным человека, который умудряется кататься на полу в одних трусах, стараясь уложить на обе лопатки Ваню Фищенко, лихого

разведчика моего полка. Нет, важным он не был. Важность — удел людей глупых. Просто он не очень любил фамильярность, не с каждым был запанибрата и не считал нужным заключать в объятия всякого, кто бросался к нему через весь зал с криком: «Саша!» А таких было великое множество. «А помнишь, Саша, как мы с тобой вместе…» Нет, не помнил. И не уверен, что это было. Отсюда и важность.

К делам литературным относился со всей серьезностью. Мучительно переживал перегибы на литературном фронте, несправедливости по отношению к кому-либо. Незаслуженную обиду, нанесенную собрату, считал обидой, нанесенной ему. Ходил тогда сам не свой, не находил себе места. «Понимаю, умом все понимаю. И что нисколько это его не унизило, не умалило его значения, что ни в твоих, ни в моих глазах он не стал другим, что время все докажет, поставит на свое место. Но ведь годы идут. И надо работать… А каково ему сейчас! У меня вот карандаш из рук валится, а у него…» В эти дни он был мрачен, песен не пел, застолья избегал. Эти дни укорачивали ему жизнь.

Как-то он сказал мне: «Если мне когда-нибудь будет плохо, не утешай меня, не жалей. Этим делу не поможешь. Выпей за мое здоровье рюмочку, а я почувствую. Мы же все чувствуем, все понимаем…».

В последний раз я видел его осенью прошлого года. Его трудно было узнать. Он сидел в кресле — маленький, в свитере, курил. Куда делась его могучая фигура, его плечи — косая сажень? Поседел. Говорить было трудно. Говорили только глаза. Какие-то удивительно добрые, что-то спрашивающие, тянущиеся к тебе.

И улыбка. Приветливая, может быть, даже робкая… Разговор как-то не клеился. Неловко было чувствовать себя здоровым, — говорили неестественно, излишне оживленно, о каких-то пустяках. А он так не любил говорить о пустяках!.. Мы вскоре ушли.

Может, не надо было заходить? Из эгоистических соображений, чтобы сберечь его в памяти не маленьким, седым, сидящим в кресле с пледом на коленях? Впрочем, для меня он остался и таким, уходящим, прощающимся, и другим — строгим, с очками на лбу, с твоей рукописью в руках: «Парень ты тертый, трудностями тебя не запугаешь, вот потрудись еще недельку-другую, я там на полях заметки сделал…», и еще — веселым, шумным, входящим в комнату, отчего она сразу делалась меньше, и хитрым глазом поглядывающим на тебя, и рука в боковой карман: «Ну как, ноги у тебя порезвее и дорогу знаешь, моложе все же…». И другим помню — подперевшим рукой голову в

далекой Флоренции, с полузакрытыми глазами, тихо-тихо выводящим высокую ноту той песни, которая и стихам его, может быть, когда-нибудь помогла, а потом задумчивым, молчаливым, прислушивающимся к мерным, однотонным, совсем не ростовским, совсем не перезвонам итальянского колокола, и, конечно же, помню молодым, лоснящимся от пота, в трусах, переводящим дыхание после схватки с Ваней Фищенко: «Да, не хотел бы я ему «языком» в руки попасться», — и…

Разным я его видал. И в разное время. И в разном настроении. И поэтом. И гражданином. И другом. И всегда — человеком. Вот потому так больно, потому чувствуешь себя таким осиротевшим, когда такие люди уходят. Может быть, с ним не всегда было легко дружить, но от одного сознания, что он есть, всегда становилось легче